

О духовном кризисе современного либерального движения в России

О. В. КАРБАСОВА

(САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

В статье дается ретроспективный анализ наиболее значительных и громких либеральных протестных и революционных движений в России от Пугачевского бунта до последних выступлений российской оппозиции. Основные критерии анализа — политическое и экономическое содержание протестов (политические и экономические требования) и «духовное содержание» (идеология протестов, включающая требования морально-нравственного характера).

Ключевые слова: протестное движение, либеральная оппозиция, восстание декабристов, духовный кризис.

За последние два века гражданская борьба с помощью представителей либерального течения растеряла не только свой романтический жертвенный пафос, но и собственно гражданское содержание. Если в начале XIX в. декабристы провозглашали одним из своих требований отмену крепостного права (требование скорее нравственного, чем экономического или политического характера), лозунгом Октябрьской революции была экономическая справедливость («Землю — крестьянам, заводы — рабочим»), демократическое движение 1980–1990-х годов боролось за политическую справедливость (борьба против тоталитарного режима), то современное либеральное движение в России не в состоянии выдвинуть ни одного требования, сравнимого с вышеназванными по нравственному и политическому масштабу. Попробуем разобраться — почему.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОСНОВА ЕДИНЕНИЯ КАК СИМВОЛ СЛАБОСТИ ОППОЗИЦИИ

На декларативном уровне гражданская борьба современной российской оппозиции направлена против бюрократии и коррупции, которые при этом называются в качестве основания для смены власти. В «скобках» необходимо отметить, что бюрократия и коррупция никогда еще в российской истории не рассматривались как основание и повод для смены власти и тем более политического режима (хотя и могли стать поводом для увольнения конкретного чиновника). Они всегда воспринимались как пороки, с которыми вполне можно бороться в рамках существующей власти, как пороки, не зависящие от государственного режима или человека «у руля», а скорее относящиеся к общечеловеческим порокам, присущим любому историческому времени и государству.

Надо сказать, что не одна лишь Россия имеет такое отношение к коррупции и бюрократии. Коррупционные скандалы в США, связанные с конкретными фамилиями республиканцев или демократов, никогда не заканчивались постановкой вопроса о легитимности власти республиканцев или демократов в целом. То же самое можно сказать о Франции: Саркози пришел к власти отнюдь не потому, что в прессе «всплыл» коррупционный скандал, связанный с именами Ширака и Вильпена. Все перипетии дел, связанных с продажей французских военных крейсеров Тайваню, обнаружением счетов в швейцарских банках и пр., стали предметом расследований и судебных разбирательств, но не привели к постановке вопроса о признании нелегитимными прошедших выборов, по результатам которых Жак Ширак был избран президентом республики.

Смена власти в результате коррупционного скандала — удел слабых политиков и признак слабости системы, а вовсе не признак демократичности режима (эффективность демократии определяется не быстротой смены лидера, а способностью к саморегулированию системы). То, что Берлускони ушел со своего поста в результате серии скандалов и судебных дел, отнюдь не говорит о том, что Италия по своему уровню демократии приблизилась к американскому идеалу. Это говорит о том, что первым лицом этой страны можно манипулировать — поддерживать «на плаву» или, наоборот, устранить, после того как он выполнил свою «миссию».

Однако главное отличие современного противостояния между властью и либеральной оппозицией в России относится скорее не к политическому плану, а к духовному. Если претензии к коррумпированности и «забюрократизированности» государства с натяжкой, но можно считать содержательным «наполнением» протестного движения, то на духовном уровне оно характеризуется беспрецедентной скудостью. Для российской истории это абсолютно нетипичный случай. Достаточно вспомнить историю любого русского «бунта», и сразу становится ясным, что на первый план «организаторами восстания» неизменно вы-

двигались лозунги именно морально-нравственного характера. Даже Пугачевский бунт, целью которого фактически была смена власти, не сумел бы стать истинно народным, если бы Емельян Пугачев так много и проникновенно не говорил о таких высоких материях, как справедливость.

Именно лозунг борьбы за справедливость (восстановление законной царской власти — власти Петра Федоровича, якобы спасшегося во время дворцового переворота) сделал «движение» Пугачева столь привлекательным для «массовой аудитории». По сути, поскольку власть в то время была священна, Пугачев призывал своих соотечественников принять участие в священной войне, войне за установление божественной справедливости. И хотя такой лозунг, безусловно, развязывал ему руки и оправдывал его многочисленные бесчинства, факт остается фактом — без этого «идеологического наполнения» бунт едва ли оказался бы столь жизнеспособным (длительность бунта составила два года — с 1773 по 1775 г.).

Лозунг борьбы за справедливость оказался чрезвычайно продуктивным для российской истории и впоследствии «эксплуатировался» каждой новой «протестной» или революционной волной. В чем причины привлекательности этой формулировки — «борьба за справедливость»? Возможно, она оказалась столь востребованной потому, что обещание восстановить или установить справедливость — единственный политический лозунг, способный апеллировать к российскому обществу и действительно «поднять» народ на гражданский подвиг или преступление. Все остальное — обещания материальных выгод и приобретений в виде гражданских прав и свобод — рассматривается как нечто недостойное, хотя, возможно, и соблазнительное, но не настолько, чтобы нарушать *status quo*.

Декабристское движение (от Пугачевского бунта его отделяло 50 лет) также содержало в себе высокий духовный заряд, который делал это движение столь харизматичным. Гражданская борьба декабристов была прежде всего жертвенной борьбой за *нравственную* справедливость, поскольку борьба за отме-

ну крепостного права мотивировалась в первую очередь не экономическими выгодами его отмены, а именно нравственными и этическими доводами.

Аналогичная ситуация наблюдалась и в США времен гражданской войны: отмена рабства мотивировалась пуританской догмой о добровольной природе богоугодного труда и невозможностью такового в случае использования труда невольников. Однако в отличие от России в США гораздо больше говорилось об экономической целесообразности отмены рабства — освобождение огромного количества рабочих рук должно было стать залогом успешной индустриализации страны. В политическом дискурсе декабристских и околodeкабристских кругов вопрос об экономической выгоде практически не обсуждался.

Основным идеологическим тезисом Октябрьской революции был тезис о ее бескорыстной природе. При том что революция 1917 г. опиралась на марксистскую теорию, она парадоксальным образом отрицала стремление рабочего класса получить экономическую выгоду от революционных преобразований. Революция позиционировалась не просто как «передел собственности», а как борьба за справедливость, но за справедливость экономическую. Надо признать, однако, что современникам и очевидцам октябрьских событий было довольно сложно представить Октябрьскую революцию как совершенно бескорыстную, особенно при наличии известного лозунга «Землю — крестьянам, заводы — рабочим», который, несмотря на фигуру умолчания, предполагал не что иное, как экспроприацию собственности у «классово чуждых» владельцев.

Именно это несоответствие между идеологической составляющей (позиционированием революции как борьбы за справедливость) и фактическим содержанием представлялось особенно смехотворным М. Булгакову и стало предметом его сатиры, породив гротескный персонаж Шарикова. Его устами автор «интерпретирует» вышеупомянутый лозунг: «Да взять все и поделить». Таким образом, борьба за справедливое, новое мироустройство, свободное от «класса эксплуататоров», представ-

лялась прямолинейно и просто как борьба за «чужой» капитал.

Безусловно, вопрос о том, кто был прав — идеологи Октябрьской революции или Булгаков, — версия о бескорыстности vs версия о грабительской природе революции — остается открытым, поскольку ответ на него требует, в свою очередь, ответов на такие вопросы, как кто участвовал в этой борьбе (была ли революция внутренним событием России) и кто в итоге стал ее «бенефициантом». В любом случае, лозунг борьбы за справедливость создал вокруг революции не только «информационное», но и «эмоциональное поле», которое во многом обеспечило ей поддержку народа (не только традиционно «безмолвную», но и гласную).

Советское диссидентское движение также ставило во главу угла вопрос о справедливости. Однако здесь в отличие от двух предыдущих случаев, где говорилось о справедливости нравственной (декабристское движение) и экономической (Октябрьская революция), речь шла о борьбе за политическую справедливость (борьбу с тоталитарным режимом).

Гражданская борьба современных либералов сводится к борьбе с бюрократией и коррупцией, которую (с большой натяжкой) можно представить как борьбу за справедливость, т. е. борьбу за равные возможности для всех, не только для чиновников. *Сегодняшняя политическая борьба либеральной оппозиции с властью полностью лишена того нравственного и духовного «зерна» и той составляющей самопожертвования во имя высшей справедливости, которая в прошлом была способна сделать эту гражданскую борьбу праведной и подлинно народной.* В этом фактически и состоит главная особенность современного российского либерального движения: оно характеризуется беспрецедентным в российской истории духовным кризисом.

В гражданской борьбе, которую ведут современные российские оппозиционеры, совершенно отсутствует такая составляющая, как жертвенность, идеализм и романтический пафос. Выражаясь циничным языком современного политического консалтинга, именно этот «продукт» нужен массовой российской

аудитории, а не той ее части, которая была на Болотной. В отличие от зарубежных политтехнологов, инспирировавших протестное движение в России, декабристы прекрасно осознавали эти потребности народа. Именно поэтому они так акцентировали идею самопожертвования. Вспомним Кондратия Рылеева: «Погибну я за край родной, // Я Это чувствую, я знаю...» Именно этот аспект подчеркивала и советская критика, канонизировавшая декабристов.

Таким образом, за два века феномен гражданской борьбы полностью растерял свое духовное содержание и привлекательность. В нынешней борьбе нет места героизму и мученичеству. В ней никогда не будет таких персонажей, как Рылеев (дважды повешенный мученик декабристского движения, которого позже канонизировала советская пропаганда, как и прочих казненных декабристов, включая «апостола» Муравьева), Щорс (герой Гражданской войны, ставший позже почти былинным персонажем, героем «народной» песни), Буковский (герой диссидентского движения) да и множество других наших соотечественников, боровшихся за те идеалы, которые они считали благом для своего народа.

Говоря о борьбе с бюрократией и коррупцией, которая (очень невнятно) называется в качестве цели протеста современных российских либералов, необходимо подчеркнуть, что в традиционном понимании (даже в понимании «подлинно» демократических государств) такая борьба является полем деятельности не политиков (будь то либералы или консерваторы), а следственных органов, прокуратуры и ФСБ, т. е. самого государства. По логике либералов, они в каком-то смысле вынуждены брать на себя функции вышеназванных структур, поскольку государство с этими функциями не справляется. Однако эта деятельность подразумевает отнюдь не «помощь» государству в виде подачи исковых заявлений в суд, создания судебных прецедентов в борьбе с конкретными случаями коррупции, создания различных антикоррупционных комитетов и выдвижения законодательных инициатив.

Если бы (хотя история не знает сослагательного наклонения) у декабристов была хо-

тя бы часть из названных инструментов гражданской борьбы, маловероятно, что они вышли бы на Сенатскую площадь. Но в 1825 г. российское государство не имело этих клапанов, что в каком-то смысле оправдывает вооруженное восстание декабристов (хотя и тогда планы «физического устранения» царя и царской семьи, имевшиеся у декабристов, выглядели «неадекватно»).

МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ СОВРЕМЕННОЙ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ОППОЗИЦИИ

Сегодня имеется масса инструментов и способов повлиять на государство, но тем не менее на митингах звучит лозунг: «Долой!» Этот лозунг является конечным выводом следующей логической цепочки: государство коррумпировано — верхушка власти является главным источником коррупции — борьба должна быть направлена именно на верхушку власти. Раньше такая логика была характерна для террористов. Именно такой логикой пользовались люди, совершавшие покушения на Александра II Освободителя, — покушения в конце концов закончившиеся убийством. Сегодня этой логикой с поправкой на методы (степень радикальности методов борьбы может быть разной, но логика одна и та же) пользуются современные российские либералы.

Сегодня, в период затишья, наступившего среди «гражданских бурь и тревог», кажется, что оппозиция провела «маркетинговый анализ» созданного ей самой протестного «продукта» и осознала, что наиболее ущербным звеном «комплекса маркетинга» — комбинации четырех «Р» (*product, price, placement, promotion*) — в этом продукте является последний элемент, т. е. то самое продвижение, или «промоушн», другими словами, идеология продукта, ее «духовная» составляющая.

При этом для достижения максимальной эффективности «идеология продукта» должна быть адаптирована для местной аудитории, т. е. для психологии российского потребителя. Здесь недостаточно универсального набора *Twitter* плюс *Facebook*, которые лояльными пользователями воспринимаются как благо сами по себе. (Достаточно разместить команду, объявить о митинге, флешмобе и т. п.,

и люди, привыкшие быть модными и «продвинутыми», сочтут за дурной тон не повиноваться. Игнорирование общих трендов социальных сетей дискредитирует их как пользователей.)

В России даже для пользователей всех новомодных достижений Интернета необходим «пантеон» мучеников. Эти мученики и должны стать духовным наполнением протеста. Мученики — новый проект протестного движения и его политтехнологов. То, что эти «мученики» происходят из творческой среды, также является показательным признаком современного протестного движения в России. Искусство, культура и творчество призваны «одухотворить» бесплодный дух протеста.

Почему именно искусство, а не наука, например, столь привлекательно для идеологов протеста? Этот феномен «сращения» искусства и протеста связан с еще одной характерной особенностью психологии российского избирателя. Как известно, поэт в России больше, чем поэт. Это борец за справедливость, пророк, провидец и мученик. Художник в России — это воплощенная мечта политтехнолога. Он способен придать его политическим проектам непререкаемую авторитетность, поскольку он (так принято считать) возвышен над толпой, он — арбитр, высший судья, который магическим образом способен увидеть истину.

Именно поэтому российская либеральная оппозиция старается всячески привлечь на свою сторону «людей искусства». Иногда это получается неуклюже, как в случае с лидером группы «ДДТ», иногда это выглядит одиозно, как в случае с *Pussy Riots*. Но тенденция существует, и ее можно сформулировать как стремление привлечь на свою сторону «творческих людей» и по возможности использовать их для продвижения «протестного продукта». Максимум этого «использования» — создать этим людям ореол мученичества. Именно в этом своем качестве они способны принести самые высокие политические дивиденды.

По сути, в этой технологии нет ничего нового. Декабристы, несмотря на высокий нравственный заряд своего движения, старались

«подкрепить» его поддержкой своих современников-поэтов. Так, известен краткий отзыв К. Рылеева о Грибоедове — «Он наш». Эта короткая фраза облетела сначала декабристские круги, потом вышла за их пределы, поставив под угрозу карьеру (если не жизнь) самого Грибоедова, а позднее была растиражирована советской литературной критикой, которая также стремилась обеспечить себе поддержку в лице русских классиков.

При этом, однако, не цитируется реплика самого Грибоедова, дошедшая до нас из воспоминаний его родственника Д. А. Смирнова, о том, что план декабристов — это когда «100 человек-прапорщиков хотят изменить весь правительственный быт России» (Смирнов, 1929: 269). Интерпретации этого высказывания могут быть разными. Можно утверждать, как это сделал один из близких друзей Грибоедова А. А. Жандр, что это замечание касалось только способа осуществления плана, а что касается идей, то здесь участие Грибоедова было «полное». Может быть, и так, но слишком уж слово «прапорщики» режет слух (особенно учитывая, что среди декабристов были военные звания гораздо более высокого уровня) и снижает уровень всех якобы разделяемых Грибоедовым идей.

Не удовлетворившись искажением отношения самого автора, сначала так называемая декабристская критика, а за ней и советская критика пытались сделать то же самое с его персонажем Чацким. Герцен писал о Чацком: «Образ Чацкого, меланхолический, ушедший в свою иронию, трепещущий от негодования и полный мечтательных идеалов, появляется в последний момент царствования Александра I, накануне восстания на Исаакиевской площади; это — *декабрист...*» (Русская литература XIX века, 1981: 34). Как это до странности похоже на те эпитеты, которыми награждали Чацкого Фамусов и иже с ним: «карбонарий», «фармазон», «вольтерьянец», «якобинец»... Слова «декабрист» они еще не знали. Сам Грибоедов сатирически завершил эту цепочку предположениями о запойном пьянстве Чацкого.

Возможно, этим он хотел показать, что хандра Чацкого не имеет ничего общего с по-

литическим протестом и что это вовсе не повод делать из него «оппозиционера» и первого литературного декабриста. Сам Грибоедов не раз показывал всю нелепость наклеивания на Чацкого политических ярлыков, делая это устами своих «недалеких» по уму персонажей. Однако это отношение автора совершенно игнорировалось самими декабристами, которым было чрезвычайно выгодно пользоваться его именем и необыкновенной популярностью.

Та же самая литературно-политическая и пропагандистская история параллельно разворачивалась и с Пушкиным. И, что примечательно, разворачивается по сей день, поскольку и современные манипуляторы не только от литературной критики, но и от политики стремятся представить Пушкина исключительно как апологета «вольности» и закрывают глаза на существование такого манифеста аполитичности, как одно из стихотворений цикла «Из Пиндемонти», где Пушкин выражает полное безразличие к существующему политическому режиму, политике в целом и возможности участия в гражданской борьбе — «Недорого ценю я громкие права...»

Безусловно, 18-летний Пушкин искренне разделял либеральные идеи и гражданскую позицию декабристов. Подтверждением тому служат пользовавшиеся огромной популярностью с момента своего появления полные воинственного пафоса «Ода вольности» (1817), «К Чаадаеву» (1818), «Кинжал» (1821) и др. Однако надо понимать, что это искреннее отношение было, скорее, похоже на искреннее заблуждение, поскольку Пушкин был явно склонен воспринимать своих либеральных друзей через образ Рылеева, готового «погибнуть за край родной» и воспевающего жертвенный пафос гражданской борьбы. Позднее под впечатлением этого образа Пушкиным был написан портрет романтика и идеалиста Ленского, привезшего с собой из Германии «учености плоды» и «вольнолюбивые мечты».

Именно из-за этого взаимного заблуждения (восприятия поэта как ярого борца за гражданские права, способного стать «знаменем» декабристского движения, и временной его очарованности образом «либерала-идеа-

листа») Пушкин по сей день является жертвой российской либеральной оппозиции, представители которой активно его цитируют, очевидно, пытаясь показать, что он всем своим творчеством поддерживал Ксюшу Собчак. И прижизненно, и посмертно гений Пушкина пытаются унизить до формулы «поэт и гражданин», а иногда и «гражданин-поэт».

В поисках истинного смысла и содержания явления поэта, его призвания и роли в обществе Пушкин отошел от борьбы за гражданские свободы и вольности, которой он искренне увлекался в молодости. Законы этой борьбы были им изучены и, видимо, перестали его интересовать. Слишком очевидна стала ее примитивность, ее «дарвиновский» характер.

Конечной целью борьбы за гражданские права и свободы является право на социальную защищенность и одновременное признание этого права за другими. Высшей справедливостью этого «закона джунглей» является гарантия таких прав государством, защищающего своих граждан и соблюдающего независимость других государств. В этом апофеоз демократии в целом и максимум, чего может достичь конкретная современная демократия. Но в этом, как показывает современная международная политика, одновременно и противоречие, поскольку реализация права защищать «своих» нередко входит в конфликт с необходимостью соблюдать чужие права.

В этой социально-политической парадигме высшее предназначение гражданина — стать образцом, источником и гарантом справедливости для себя и своих сограждан. Венцом общественно-политической карьеры гражданина является завоевание максимума прав для себя и «своих». По Киплингу, это «карьер» Маугли, который, действительно, имеет ярко выраженную гражданскую позицию, борется за права «свободного народа», побеждает врагов и становится «царем зверей». Показательно при этом, что в более сложный соседствующий с джунглями мир людей его не принимают. Закон, управляющий этим подлинно человеческим миром, очевидно, сложнее, чем примитивный закон джунглей.

Роль поэта в этой системе гражданской борьбы сводится фактически к пропагандист-

ской функции «воспевания» гражданских прав и свобод, а также «преимуществ» закона гражданского общества. Аполитичный Баратынский в своем стихотворении «Рифма» сравнил такую роль поэта с ролью витии, властвующего народным произволом. В этом сравнении показано «приземление» содержания явления поэта, низведение его сущности до роли «вития», демагога, талантливо манипулирующего желаниями и ожиданиями толпы. Последние выразительно описываются словом «произвол», в котором содержится указание на разрушительный потенциал гражданской борьбы, стремящейся перерасти в бунт и гражданскую войну.

Помимо примитивизма самого содержания и сути гражданской борьбы, ее плотоядного характера, направленности на отстаивание права на выживание, отталкивающий эффект имеют и глубинные психологические механизмы этой борьбы: эгоистические, низменные, корыстные мотивы, движущие «гражданином» гораздо чаще, чем «идейные убеждения», и желание быть услышанным, обласканным, признанным, движущее поэтом.

Можно упрекнуть поэта в нежелании запачкать свои белые перчатки в этой грязной войне за гражданские права и свободы. Это, собственно, и делала литературная критика середины XIX в., а за ней и советская критика, требовавшая от писателя «конкретной», ярко выраженной гражданской позиции. Наличие этой позиции было показателем «уровня» поэта и его соответствия требованиям времени и общества.

Так, к выражению общественных, гражданских мотивов призывал Баратынского его современник Гнедич. Баратынский, принципиально не касавшийся политики и за всю свою жизнь не написавший ни одной политической «окрашенной» строчки (кроме, пожалуй, «Рифмы»), ответил на этот призыв посланием «Гнедичу, который советовал сочинителю писать сатиры». В самом названии послания Баратынский сформулировал социальную роль «поэта и гражданина»: это сатирик, в лучшем случае остроумный, «высмеивающий» пороки общества и государства и своими сочинениями служащий общественному благу.

Позднее советская литературная критика стала оценивать поэтов и писателей с точки зрения их способности выражать интересы той или иной общественной силы. В качестве индикатора этой способности использовалось отношение писателя к декабристскому движению. Творчество писателя (иногда вопреки его содержанию и духу) старались разделить на додекабрьский и последекабрьский периоды. Все, что по своему содержанию не вписывалось в концепцию «общественно значимой» поэзии, называлось поэзией «общих мест», которая «исключала всякую претензию со стороны литературы на ведущее место в национальной культуре» и «сводила роль литературы к развлечению от дел, к пяти минутам „культурного отдыха“, за которым в кругу знакомых, но не господствующих чувств можно было забыть более серьезные заботы» (Мирский, 1936: IX). Несмотря на всю наукообразность, это очень похоже на то, как в известной эстрадной миниатюре описывается отношение советской бюрократии к «культуре»: она должна непременно приносить пользу, причем буквальную, материальную. Отсюда желание прицепить динамо к ноге балерины: не даром же ей крутиться, пусть пользу приносит, электричество вырабатывает...

Если еще раз обратиться к Баратынскому как к примеру аполитичного поэта, то в своем послании Гендичу и «Антикритике» он хотел сказать, что социальная роль поэта не имеет ничего общего с «общественно значимой» деятельностью, с «высмеиванием» и критикой недостатков государства и политической системы. В ней есть нечто неизмеримо большее, чем защита гражданских прав и свобод. И уход поэта от суеты гражданской борьбы нельзя сводить к просто брезгливому желанию остаться во всем белом и чистом. Этот уход обусловлен поисками Высшего закона, который стоит над законами гражданского общества. В то же время этот закон имеет гораздо большее «социальное» значение, поскольку он касается не отношения человека к сиюминутным и преходящим гражданским вопросам и общественно-политическим проблемам, а отношения человека к вечному, его способности или неспособности соединиться

с вечным и таким образом примириться с самим собой и окружающим миром, в том числе и с государством, политическим режимом и политическими противниками.

Неспособность гражданской борьбы примирить человека с самим собой делает эту борьбу похожей на дурную бесконечность, на повторяющуюся из поколения в поколение историю. Количество гражданских прав и свобод можно умножать и умножать, доводя гражданскую борьбу до того абсурда, каким она стала в ХХI в., когда целью этой борьбы фактически провозглашается право на произвол. И это не только на частном уровне прав отдельных «художников» на осуществление безумных и хамских «арт-проектов» и «перформансов», но и на уровне международной политики, когда защита демократических ценностей становится поводом для гуманитарных или военных интервенций.

Предметом гражданской борьбы (как на высоком идеологическом уровне, так и на приземленном практическом), по сути, является «выживание» человека в обществе, а задачи борьбы состоят в том, чтобы найти способы облегчить это выживание. Другими словами, гражданская борьба сосредоточена на обеспечении максимально легкого существования человека в своей стране, государстве, обществе, мире. Целью ее является создание «земного рая», где человек сможет легко и просто (без законодательных и бюрократических препон и проволочек) достигать своих насущных целей.

При этом гражданская борьба не замечает (или даже отрицает) существование духовных потребностей человека — потребностей более высокого порядка, которые не зависят от состояния обустройства «мирского» существования человека. Здесь имеется в виду не просто потребность людей ходить в театр и читать книги — культурная жизнь общества отнюдь не противоречит гражданской борьбе, а зачастую идет рядом с ней: гражданские движения поддерживаются представителями культуры, часто связываются с различными направлениями и движениями в искусстве (яркий пример — футуризм и фашизм). Такая связь говорит о том, что искусству требуется определен-

ная среда, создаваемая с помощью гражданской борьбы — та самая свобода, которая позволяет представителям искусства и культуры существовать и «выживать» в государстве и обществе.

Эта потребность характерна для такого искусства, которое, как и гражданская борьба, направлено на решение насущных сиюминутных проблем. В основном художниками такого «склада» движет желание самореализации (о чем они зачастую открыто и без стеснения заявляют) — желание во многом эгоистичное и очень похожее на желание обустроить свою жизнь максимально удобно и комфортно, что и роднит таких деятелей искусства и культуры с гражданскими движениями.

Казалось бы, в этом нет ничего плохого. Люди хотят наладить свою жизнь, получить возможность реализовывать себя. В этом нет ничего плохого, кроме ограничения человеческой жизни очень простой схемой, в которой все вращается вокруг борьбы за права и свободы и нацелено на обеспечение удобного и комфортного существования. Эта схема несколько «облагорожена» представителями искусства, которые добавляют в нее «бонус» самореализации. При этом для сознания человека, существующего внутри этой схемы, характерен страх перед самим собой, тем неизвестным и непознанным, что находится внутри него. Это боязнь заглянуть внутрь себя и признаться самому себе, что есть нечто большее, что руководит нашей жизнью, чем животная потребность в «выживании», стяжательстве, самообеспечении и самореализации. Это те самые более «сложные» духовные потребности, которые выходят за рамки земного, в его привычных проявлениях гражданской борьбы, общественно политических проблем и зацикленных на самореализации искусства и культуры.

ПОТРЕБНОСТИ «ВЫСОКОГО ПОРЯДКА», ГРАЖДАНСКАЯ И ДУХОВНАЯ СВОБОДА

В чем же состоят эти сложные потребности «высокого порядка», в которых боится признаться себе современный человек и которые не входят в известную всем пирамиду Маслоу (которая включает потребности «низшие», та-

кие как потребность в пище, и потребности «высшие», которые венчаются потребностью в самореализации).

В первую очередь, это потребность самоопределения и самоидентификации, которая существует в сознании каждого человека и, собственно, отличает его от животного, которое не задается вопросами «Кто я?» и «Что я?». Существование в рамках описанной выше схемы (выживание + самореализация) ставит человека в один ряд с животным, поскольку элемент самореализации, присутствующий в «человеческой» схеме, фактически является той же борьбой за «жизненное пространство» и, по сути, ненамного его расширяет. В то же время элемент самореализации создает как бы «иллюзию» человека, заставляя его думать, что он выше окружающей его природы тем, что его насущные потребности распространяются не только на физическое и материальное, но и на нематериальную сферу жизни: помимо физических потребностей у человека есть потребность создавать нематериальные «продукты» (заниматься творчеством), а также потреблять эти продукты и таким образом «самореализовываться» — чувствовать свою востребованность (если не как «производителя», то хотя бы как потребителя), значимость, способность идти в ногу со временем.

«Самореализация» — это не что иное, как удовлетворение творческих амбиций, которые очень похожи на те животные инстинкты, которые заставляют искать пищу, отдых и пару для продолжения рода. Успешная реализация творческих амбиций обеспечивает те же комфорт и удобство, что и борьба за гражданские права (борьба за выживание). И то и другое направлено на завоевание определенной ниши в обществе, статуса полноправного гражданина и одновременно «творческой личности».

Наличие творческих амбиций и стремления их реализовывать вовсе не делают из человека великого художника, а из «самореализации» — искусство. Самореализация, скорее, предполагает индустрию (такую как индустрия развлечений или киноиндустрия в США), в которой производятся культурные «товары» разного уровня и качества. В такой индустрии присутствует элемент «включенности»,

который позволяет потребителю культурного «продукта» по сходной цене и без особых интеллектуальных и эмоциональных затрат ощутить свою причастность к большой псевдокультуре. Одновременно с этим «творческий человек», существующий в этой индустрии и движимый самореализацией, получает возможность реализовывать свои амбиции. Точно так же участие в общественно-политическом процессе и батаях за гражданские права позволяет человеку почувствовать себя «полноправным гражданином» псевдодемократического общества.

Гражданская борьба вместе с ее культурным аспектом является своеобразным стремлением к обретению личностной полноценности через обретение полноправия. Однако эта полноценность, получаемая через гражданскую и творческую самореализацию, странным образом не предполагает самоидентификации. Скорее, она отменяет или даже отрицает необходимость самоопределения. Иллюзия полноценности отменяет необходимость заглядывать внутрь своей души, задумываться о своем предназначении и месте в этом мире.

В начале XIX в. рационалистские ценности Просвещения начинают восприниматься как безусловные. Они становятся фетишем для многих современников Пушкина, точно так же как сегодня фетишизируются ценности демократии. Вокруг идеологии Просвещения возникает своеобразный культ, казалось бы, направленный на обогащение человеческой личности через расширение горизонтов познания. Однако Пушкин не мог не заметить тот колоссальный ущерб, который Просвещение (при всех его достижениях) нанесло человеческому сознанию. Возник не только резкий диссонанс между духовным и рациональным. Рациональное начинает полностью исключать духовное. Человек парадоксальным образом лишается той свободы, которую ему обещало Просвещение. Он становится рабом рационализма и отсекает для себя иррациональное как альтернативу. А что такое свобода без альтернативы и возможности выбора?

В этой связи совершенно иначе начинают звучать строки Пушкина из его «Памятника»:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Советская критика долгие годы навязывала свою интерпретацию этих строк. «Свобода» понималась однозначно как свобода гражданская, свобода бороться за свои права. «Жестокий век» с этой точки зрения представлялся как эпоха Николая I — «Николая Палкина» — с ее жесткой централизованной властью, цензурой и репрессивным аппаратом. «Падшими» принято было считать тех, кто «пал» в благородной гражданской борьбе, т. е. все декабристское движение и особенно тех его лидеров, которые погибли («пали») буквально.

Если же посмотреть на эти строки в контексте того духовного кризиса, к которому привело Просвещение, объявив иррациональное «вне закона», то звучание этих строк кардинально меняется. «Жестокий век» становится веком Просвещения, временем торжества рационализма. «Свобода», явно противопоставленная Пушкиным «жестокому веку», предстает как свобода духовная, свобода от рабского поклонения идеям рационализма. «Падшие» в этом свете, наконец, перестают восприниматься буквально как «павшие» на полях гражданских сражений. Пушкин недаром выбирает именно слово «падшие», а не «павшие». «Падение» — это еще и сокращенная форма от «грехопадение», и под «падшими» понимаются грешники.

Как известно из биографии Пушкина, он не призывал помиловать декабристов (как, например, Жуковский, который 1837 г. в письме к царю просил его «даровать всепрощение» сосланным в Сибирь декабристам). Не призывал он к этому и косвенно в своих стихах. Поэтому советская интерпретация строчки «И милость к падшим призывал» теряет всякий смысл. Если же посмотреть на этот «призыв» как на пожелание прощения для грешников, поддавшихся искушению отрицания духовного (духовной свободы), заблудших в попытке рационализировать все и вся, то общий смысл «Памятника» становится не только понятным, но и приобретает ту пушкинскую глубину, которая, действительно, заслуживает увековечения.

Проблема современной политики, литературы и культуры состоит в том, что слово Пушкина прозвучало, но не было до конца услышано и осознано. Та основная мысль о необходимости для человека обратиться к духовному, выстраданная всей жизнью Пушкина, была замутнена. Точно так же было искажено и восприятие самой фигуры Пушкина, которую (во многом уже по традиции) принято интерпретировать вполне однозначно: Пушкин — это пламенный борец за права, гражданскую справедливость, вольность. То, что Пушкин был еще и «борцом» за человеческую душу (и в этом он был глубоко религиозным поэтом и христианином) и ее освобождение от «оков» рационализма с его догмами «наущного и полезного» (Баратынский), обычно не принимается во внимание.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Сегодня, когда научные достижения делают жизнь человека все более и более технологичной, рационализм грозит полностью вытеснить все духовное. Уже сейчас духовное заменяется на виртуальное. Виртуальная «сфера жизни» с ее многообразными развлечениями, актуальными («наущными») вопросами создает для человека видимость реальности, иллюзию полноты жизни. Одновременно с этим виртуальное уводит человека в сторону от истинных целей, дробит его духовную целостность на мелкие части, не позволяет ему подняться над этими частностями и увидеть самое главное. Современный человек все больше выражается в потребителя. Он обречен на вечную погоню за преимуществами, выгодами и гражданскими правами. Для духовной жизни ему отводится виртуальное «пространство» — клетка, в которой его «кормят» суррогатами культуры и искусства. Но основным и самым доступным «блюдом» является политика. Она дает человеку самую главную иллюзию его жизни — иллюзию свободы выбора. При этом настоящая свобода — свобода духовная — становится для человека недоступной.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Русская литература XIX века. Первая половина (1981) : хрестоматия литературно-критиче-

ских, мемуарных и эпистолярных материалов / сост. И. Е. Каплан, П. Г. Пустовойт. М. : Просвещение.

Мирский, Д. (1936) Баратынский // Баратынский Е. А. Полн. собр. стихотворений : в 2 т. Л. : Сов. писатель. Т. 1. С. V–XXXIV.

Смирнов, Д. А. (1929) Рассказы об А. С. Грибоедове, записанные со слов его друзей // А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников. М. : Федерация. С. 223–301.

Дата поступления: 15.02.2013 г.

ON THE SPIRITUAL CRISIS
OF THE PRESENT-DAY LIBERAL
MOVEMENT IN RUSSIA

O. V. Karbasova

(Samara State Technical University)

The article presents a retrospective analysis of the most outstanding and well-known liberal protest and revolutionary movements in Russia from the Pugachev's Rebellion to the latest protests of the Rus-

sian opposition. The political and economic «content» of the protests (the political and economic claims) and the «spiritual content» (the ideology of the protests that includes the demands of moral and ethical nature) were chosen as the major criteria for the analysis.

Keywords: protest movement, liberal opposition, the Decembrist revolt, spiritual crisis.

BIBLIOGRAPHY (TRANSLITERATION)

Russkaia literatura XIX veka. Pervaia polovina (1981) : khrestomatiia literaturno-kriticheskikh, memuarnykh i epistoliarnykh materialov / sost. I. E. Kaplan, P. G. Pustovoi. M. : Prosve-shchenie.

Mirskii, D. (1936) Baratynskii // Baratynskii E. A. Poln. sobr. stikhotvorenii : v 2 t. L. : Sov. pisatel'. T. 1. S. V–XXXIV.

Smirnov, D. A. (1929) Rasskazy ob A. S. Griboedove, zapisannye so slov ego druzei // A. S. Griboedov v vospominaniakh sovremennikov. M. : Federatsiia. S. 223–301.